

ИРИНА  
МУРАВЬЕВА

# ЛЮБОВЬ ФРАУ КЛЕЙСТ



*Высокая проза*

Эта проза странная. Издатели пытаются ее уткнуть в жанр «женской прозы», а жанр для нее маловат, трещит по швам. Слишком живой, слишком настоящее.

Михаил Шишкин

Ирина Муравьева – самый, по-моему, интересный русский зарубежный прозаик новейшего времени. Безупречная память, тонкий слух, высокопрофессиональная наблюдательность и дар сострадания – что еще нужно хорошему писателю? Всем этим обладает Муравьева. Бог ей в помощь.

Александр Кабанов

# Ирина Лазаревна Муравьева Любовь фрау Клейст

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=174609](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174609)*

*И.Муравьева Любовь фрау Клейст: Эксмо; Москва; 2008*

*ISBN 978-5-699-30477-6*

## **Аннотация**

Роман «Любовь фрау Клейст» – это не попсовая песенка-одногодка, а виртуозное симфоническое произведение, созданное на века. Это роман-музыка, которую можно слушать многократно, потому что все в ней – наслаждение: великолепный язык, поразительное чувство ритма, полифония мотивов и та правда, которая приоткрывает завесу над вечностью. Это роман о любви, которая защищает человека от постоянного осознания своей смертности. Это книга о страсти, которая, как тайфун, вовлекает в свой дикий счастливый вираж две души и разрушает все вокруг. Это роман о природе любви, которая не бывает греховной.

# Содержание

Ирина Муравьева	4
Конец ознакомительного фрагмента.	81

# Ирина Муравьева

## Любовь фрау Клейст

Вечером, двадцать третьего, у дома появились койоты. Сначала решили, что это лисята. Прошло пять минут – зазвонила старуха с первого этажа:

– А вот заявить, и пускай их отловят.

– Зачем?

– Как это: зачем? Опасные, жуткие, дикие звери! А в доме три кошки!

– И что? Они же ведь не нападают.

Пауза и голос с негромким наждачным шуршанием:

– Ну, если вам нравится, чтобы вокруг... – Еще одна пауза. – Чтобы гиены... Тогда что ж... конечно.

– Они ведь ушли.

– Ушли, так вернутся! – вскипела старуха. – Но вам безразлично, ведь вы уезжаете! А, кстати, когда?

– Тридцатого августа.

– А, ну, до свиданья! – И бросила трубку.

Скорее всего, это те самые щенки, которых Даша подкармливала летом. Койотиха с острыми черными сосками попала под грузовик недалеко от океана. Она лежала раздавленная и визжала так громко, что вызвали полицию. Полицейский приехал не один, а пригнал специальную, глухо за-

мурованную со всех сторон машину, на которой было написано: «Животный контроль». Из «Животного контроля» вылез парень с узкой, задранной вверх красной бородой.

Они с полицейским постояли над раздавленной, у которой из черных сосков еще сочилось молоко, потом краснобородый достал ружье и, светясь в лучах испуганного солнца жесткими волосками своей красной бороды, выстрелил ей в голову. Койотиха тут же притихла. Молоко, брызнувшее из ее сосков, засохло не сразу, а только после того, как убитую увезли на замурованной машине, и кровь, сгустившуюся на асфальте, посыпали песком из ведра.

Итак, мать померла, а щенята остались. Они жили в овраге неподалеку от клуба. Из оврага сильно пахло большими белыми цветами, которые любят болотную почву.

Вечерами в клубе собирались. Из подъехавших машин выходили широкоплечие, очень похожие друг на друга своими счастливыми чистыми лицами молодые мужчины, поддерживая под острые локотки молодых женщин, у которых тоже было нечто общее – худоба, из-за которой колени их казались слишком большими и развернутыми навстречу друг другу, отчего и походка у молодых женщин была одинаковой – ласковой и простодушной.

Они вылезали из машин и шли в старинное здание клуба обедать, а вечером, после их ухода, тучный немолодой человек с руками, заросшими темно-желтым пухом, выносил из кухни остатки мяса, рыбы головы и куски хлеба. Стоял на

краю оврага, вдыхал в себя запах болотных цветов и посвистывал. Щенят было пятеро, и они выжили после материнской смерти благодаря тучному человеку с невозмутимым ирландским лицом, который, вглядываясь в темноту узкими глазами, не торопился домой после работы, а помнил о том, что им нечего есть.

Даша заехала туда случайно – искала дорогу – и увидела всех пятерых, лежащих в траве прямо рядом с парковкой. Они не испугались подъехавшей машины, не бросились прятаться, а, напротив, встали на свои неуверенные тонкие лапы и вытянули некрасивые морды с глубоко запавшими белесыми глазами. То ли у повара закончился контракт в этом клубе, то ли произошло еще какое-то человеческое событие, но только младенцы-койоты, осиротевшие на третьей неделе своего проживания на земле, не научившись ни охотиться, ни убежать, ни даже бояться, остались на верную смерть.

С этого вечера Даша начала заботиться о них сама. Она подъезжала после одиннадцати, когда в клубе гасли золотистые лампы, и пятеро на длинных неуверенных лапах выходили из темноты, слабо виляя хвостами, как будто они были не дикими хищниками, а просто щенками овчарки. Выхватывали друг у друга то, что она бросала им, торопливо заглатывали и с поднятыми, полными ожидания, тоскливыми мордами застывали на месте. И ей было стыдно от них уезжать.

Теперь соседка заявит в «Животный контроль», нагрянет

краснобородый, не знающий, что у него, у «контроля», такие же бусины глаз и так же тусклы они, так же белесы, и сам он из волчьей породы, – придет с ружьем и застрелит их всех, а может, расставит капканы.

Ребятки, простите!

Решение принято, они улетают через неделю. Обратно, домой.

Перед родами, тринадцать лет назад, она ходила к гадалке, большой важной ведьме с малиновой шеей. Ведьма посмотрела на ее живот и улыбнулась маслянисто и ласково. Она была из Армении, говорила по-русски.

– Фирменная вы женщина, – сказала ведьма, особенно мягко и тягуче отлепляя согласные от гласных. – И все в ваших руках, кроме одного.

Колыхаясь большим, обернутым шелковым халатом телом, блестя золотыми, разрезанными до полных и смуглых локтей рукавами, она нелегко поднялась. На кресле остался ее отпечаток. Потом долго пахло поджаренным кофе. Гадалка выплыла из кухни, осторожно, как птенца, держа в сложенных ковшиком ладонях фарфоровую пеструю чашечку, и, вся зашуршав, наклонилась над Дашей.

– Ну, пейте, а я погляжу, что там вышло.

Даша выпила горечь одним глотком. Ведьма столкнула шелковые брови на переносице.

– Твоя правда – здесь, – кивнула на Дашин живот. – Ты

не бойся.

– Я замужем, – пробормотала Даша.

– Ребенок не мужа, – сладко усмехнулась гадалка.

– И что теперь будет?

– Что будет? – гадалка понизила голос, как будто выдавая тайну. – У вашего друга весь к вам интерес под трусами. Вот это и будет.

– А как же ребенок?

– Ребенок имеет отца, – со значением напирая на слово «отец», сказала уставшая ведьма.

В середине мая, когда небо было зеленоватым и мелкие листья сквозили на нем с той доверчивой нерешительностью, которая отличает все только-только начавшее жить и дышать, она родила девочку, которую назвали Ниной в честь Юриной матери. Юра был при родах и обеими руками поддерживал запрокинутую голову жены с мокрыми от пота волосами. Она тогда радостно, жадно кричала.

Девочке исполнилось четыре дня. Даша села в машину, поставила на заднее сиденье качалку с младенцем и подъехала к парку, где по дождливому хмурому времени никого не было. Андрей ее ждал. Они вместе вынули девочку из качалки, и он подержал ее в руках, потом осторожно положил обратно. По одному только испуганному взгляду, который он бросил на это очень маленькое красное лицо новорожденной, можно было угадать то, чего он не произнес. И никогда бы не посмел произнести. Не только тогда. Боялся спугнуть,

оскорбить. И не верил.

Она знала, что он не верил. Знала, что у него есть основания не верить. И знала, что Нина – его ребенок. Но если бы он вдруг поверил, если бы не вспыхнул в его глазах испуг при виде этого маленького, красного четырехдневного личика, то это был бы не он. Да, это был бы совсем другой человек, и жизнь с этим человеком была бы другой, и не Юра поддерживал бы ее запрокинутую голову с мокрыми от пота волосами.

И нечего было бы к ведьме бежать, глотать эту горечь.

С тех пор утекло очень много всего: обид, недомолвок, взаимных упреков. Даша оставляла в холодильнике бутылочки со сцеженным молоком, ускользала на свидания, теперь раздраженные и торопливые, потом возвращалась домой, где Нина ползала по манежу, а нянька, седая бакин-ка Джульетта с небольшими колкими усиками, встречала ее своим басом:

«А, ма-мач-ка наша явилась!»

И всматривалась в нее наивными воловьими глазами.

Чем больше времени проходило с того дня, когда они вместе, в четыре руки, вынули из качалки новорожденную девочку, тем старательнее становились их взаимные усилия сделать вид, что эта вот жизнь есть нормальная жизнь и важно одно: чтобы все было тихо.

И было не то чтобы тихо, но сносно. Нина вскоре начала бегать по всему дому, и неповоротливая Джульетта, слизи-

вая капельки пота со своих усиков, ловила ее растопыренными руками. Ребенок рос русым, кудрявым и толстым. Она не была похожа ни на кого, может быть, только отдаленно, изредка на Дашину тетку, хотя Юра и уверял, что если сравнить его детские изображения с тем, какая она теперь, то сходство буквально пугает.

Но Юра, ослепший от нежности, *так* это видел. Она с ним не спорила.

То, что происходило у Андрея, в его хоромах, где дочки-близняшки давно уже играли на фортепиано и ходили в частную школу, поскольку в простую ходить не престижно, – в его уютных хоромах, где было много искусственных деревьев и, развешанные по стенам, пестрели чужие старинные шляпы, – в его этих пышных хоромах тогда началось что-то вроде удушья. Как будто ночами входил неизвестный с лицом осповатым, безглазым, унылым, высасывал весь кислород из жилища.

А утром все было нормально. Вставали с постелей, бежали под душ. Отец целовал сонных дочек, жена заворачивала мужу завтрак. Звонил телефон. Птицы пели на ветках. Шла жизнь, трепетала от собственной ловкости.

Нине исполнилось десять лет, когда Юра получил приглашение на работу в Миннеаполисе. Даша ощущала разлуку с Андреем внутри себя так, как будто под сердцем все время стояла морская волна. Ночами она обрушивалась на жизнь и сметала ее. Потом поднималась, опять застывала.

В четверг, тридцатого августа, убийственно жарким, пылающим днем, когда по океанской синеве мелькали красные плавники рыб и все ярко-белое в мире казалось намного белее, от чаек и до парусов, в этот день самолет из Миннеаполиса, совершивший посадку с опозданием на четыре минуты, распахнул свою полукруглую дверцу, и стюардесса с вежливой улыбкой усталости стала по одному прощаться с покидавшими салон пассажирами.

**2 сентября**

**Даша Симонова – Вере Ольшанской**

– Начала новую повесть. Как тебе название: «Любовь фрау Клейст»?

**2 сентября**

**Вера Ольшанская – Даше Симоновой**

– Звучит, как перевод с немецкого. Почему фрау, а не миссис? Я, кстати, звонила тебе вчера, разговаривала с Ни-

ной. Она передала?

**3 сентября**

**Даша Симонова – Вере Ольшанской**

– Нина никогда не передает. Я язык облупила. Но если действие происходит в Германии, какая же «миссис»?

**Любовь фрау Клейст**

Выйдя из дому, фрау Клейст почувствовала, как что-то сдавило вдруг слева и тут же подпрыгнуло, глухо и быстро, как будто резиновый шарик. Она свернула в сквер и остановилась внутри его прохлады, пахнувшей цветами после недавнего дождя. В сквере никого не было, кроме молодого человека, заснувшего на скамейке у самого входа. Он мог быть и пьян. Фрау Клейст равнодушно проглотила голубыми глазами его свернувшуюся улиткой фигурку. Слева, в груди, продолжалось глуховатое подпрыгивание, и, вынув из перчатки свою очень худую руку, она изо всех сил надавила на него. Деревья и трава от этого немного

порозовели, словно в стакан с водой стряхнули каплю красной акварели.

Последние тридцать шесть лет были очень спокойными. Вставала не рано, гуляла, читала. Потом занималась делами: работа по дому, работа по саду. Потом начинались фантазии памяти. Садилась к окну, вспоминала, смеялась. Сжимала виски сухими, словно бы припудренными, пальцами. Изредка встречалась с подругами. Подруг было мало до крайности.

В четверг, первого августа, ей подвернулась воскресная, уже устаревшая газета, которую полагалось выбросить. Она развернула ее машинально. Пробежала глазами несколько строчек. Наткнулась на это объявление:

*Семейная пара Алексей и Полина со своими детьми: Андреем (9 лет) и Александром (6 лет) снимет (можно этаж небольшого дома) неподалеку от трамвайной линии. Звонить по телефонам: 577-11-42 (Полина) и 577-77-77 (Алексей).*

Фрау Клейст удивленно посчитала семерки.

И тут, будто бы к паутине в чулане кто-то вдруг поднес разгоревшийся факел, чулан засверкал, стало весело, страшно.

Фрау Клейст, не откладывая, позвонила по указанному телефону, услышала негромкий мужской голос, который она ожидала услышать, сказала, что квартира неподалеку от трамвайной линии сдается недорого, и договорилась на встречу в субботу. А в ночь на субботу шел дождь, так что стало прохладно.

Да, стало очень прохладно, и можно надеть бледно-персиковую шелковую блузку с длинными рукавами. А к ней материнский лоснящийся жемчуг. Лицо фрау Клейст отразилось в зеркале и побагровело от натуги, пока она, вся изогнувшись, застегивала бусы.

После этого она спокойно села у окна, и, если бы кто-нибудь увидел ее сейчас, неподвижную, словно нарисованную вместе с полосатой спинкой кресла, никто бы не заподозрил, что в душе фрау Клейст постепенно разгорается та полузатоптанная буря, которая все эти тридцать шесть лет просуществовала внутри ее, как океан, замерзший с поднятыми и вздувшимися волнами.

Но, как океан, замерзший с поднятыми волнами, рождается только человеческим воображением, так и буря внутри фрау Клейст была рождена страстным голосом памяти, ничуть не мешая налаженной жизни.

Тусклое объявление в газете вызвало взрыв, электрический шок, от которого фрау Клейст, старуха с голубыми глазами и очень сухими, подвижными пальцами, вдруг стала похожа на девочку.

Не внешне, конечно. Внешне она продолжала быть старухой с сухими пальцами. И девочка, запечатленная на фоне голубоватого вестфальского пейзажа, нарядно одетая, смиренная, с черной бархоткой на шее, должна бы была удивиться при виде чужой светлоглазой старухи.

Шепелявый фотограф, который шестьдесят пять лет назад и так и эдак усаживал нарядную девочку, откидывал назад ее локоны, поправлял черную

бархотку на нежной ее, детской шее, возился особенно долго. Готовил сюрприз дяде Томасу в день его сорокалетия.

Грета Вебер, ставшая впоследствии фрау Клейст, запомнила этот день так отчетливо, как дети запоминают свои страшные сны, и тень их ложится потом на всю жизнь.

Сначала она в узеньких, светло-красных башмаках, счастливая, бежала по лестнице, делая вид, что стремится удрать от настигавших ее кузена Фридриха и его друга Антуана, молчаливого, с сильно оттопыренными, горящими от волнения ушами.

Приблизившись к зеркалу в конце коридора и опрокинув на него свои растрепанные волосы, Грета наконец громко, на весь дядин дом, засмеялась, но тут же притихла. Она посмотрела на Фридриха и Антуана, ответивших ей влюбленными, бессмысленными взглядами, закусила губу и, покачав головой, медленно, как во сне, вернулась в столовую. Гостей уже не было, мать и дядя пили чай.

– Не дай бог, скучаешь?

И мать, с розоватым румянцем, чуть-чуть розовее, чем жемчуг на шее, светло улыбнулась:

– Никто не обидел?

– Никто не обидел, – пытаюсь проглотить страх, который, как рыхлый, разваренный гриб, застрял в горле, ответила Грета.

– Тогда в чем же дело?

– Какое? Ни в чем.

Но оттого, что мать оставалась спокойной и продолжала закругленным серебряным ножиком чистить скользящую грушу, Грета сказала ей, немного повысив голос:

– А я ведь умру.

Мать опустила грушу на тарелку и вскинула на Грету вопрошающие глаза:

– Ты что? Что ты мелешь?

– Но мы все умрем.

– Не смей! – негромко вскрикнула мать, и тонкая шея ее стала пестрой, как счищенная кожа. – Что значит – умру? Ты ребенок!

Ночью Грета не могла заснуть, но желание перебежать в материнскую спальню и нырнуть в большую родительскую кровать, где мать спала одна, потому что отец уже второй месяц был в туберкулезном санатории, наталкивалось на то, что мама умрет, как и все остальные.

Она вылезла из-под одеяла, подошла к окну. По саду скользили бесшумные тени, без лиц и без тел, просто тени. Она никого не боялась. До одури пахла ночная фиалка. Качели, на которых они с Антуаном еще только утром взлетали под небо, легонько скрипели от ветра. Все было знакомым, все было счастливым. Когда бы не смерть! Когда бы не то, что умрет даже мама! Грета с размаху бросалась на подушку, закапывалась под нее. Тогда соловей замолкал почти сразу.

«Зачем я думаю об этом?»

Она отбрасывала подушку и следила, как серый,

похожий на лошадиную голову, к окну подплывает туман.

– Никто ведь об этом не помнит! Никто. Только я. Что же делать?

Под утро она задремала и проснулась оттого, что нежная и суховатая материнская рука погладила ее по плечу.

– Горела всю ночь, – сказала мать, дотрагиваясь до ее лба рассеянными губами. – Простыла, наверное.

И оттого, что губы ее были спокойны, а глаза, наполненные серым блеском, смотрели прямо, Грета догадалась, что мать и не помнит, и помнить не хочет, и в голову ей не пришло испугаться.

Со дня рождения дяди Томаса прошло много лет.

Грета Вебер успела привыкнуть к тому, что в самый неподходящий момент, например, у портнихи во время примерки, когда в трехстворчатом зеркале отражалось ее полуголое тело, с которого свисала ткань, и портниха ползала вокруг него по полу, быстро говоря что-то сквозь булавки, которые ловко сжимала во рту, в этот уютный момент вдруг меркло блестящее зеркало, ее полуголое тело в античных напльвах грядущего платья казалось обугленным деревом, и голос портнихи, смеющейся нежно сквозь искры булавок, совсем пропадал.

Она постепенно успела привыкнуть к тому, как темнеет, как меркнет, и кровь бросается в голову, и начинает шуметь в ушах, и страх этот, который она

впервые испытала на дне рождения дяди Томаса, – он вот он, он здесь, он вернулся.

Она научилась управлять своим лицом и если вдруг огненно покраснела, то делала вид, как будто кольнуло в бок, или внезапно заболел зуб, или подвернулся каблук, она научилась не прерывать беседы, и только иногда, когда страх становился слишком сильным и ноги ее отнимались, а руки слипались от пота, – тогда она с неловкой полуулыбкой шептала, что ей пора принять таблетку, поскольку сосуды... да, спазмы сосудов. Наследство от мамы.

Внимательный психоаналитик с обесцвеченными до ангельской белизны, проволочно-густыми, кудрявыми волосами, в которые он без усилия вставлял маленький карандаш на случай важной пометки в блокноте, определил тяжелый невроз и провел с Гретой Вебер десять долгих и наскучивших ей часов, пытаясь освободить ее от этого невроза. Но он, в конце концов, опустил руки, потому что Грета не поддавалась никакой форме внушения, не плакала, вспоминая о детстве, но чаще всего отводила глаза и даже, подчас, улыбалась спокойно.

К тому времени, как появился психоаналитик, она и сама знала средство, которое ей помогало.

\* \* \*

В Провиденсе оказалось еще жарче, чем в Миннеаполисе,

поэтому, несмотря на то что наступил вечер, во всех университетских кабинетах шумно гудели вентиляторы.

В жилах профессора Адриана Трубецкого текла голубая кровь, и он позволял себе множество странностей. Вентилятора в его кабинете не было, поскольку он сам, человек очень шумный, шумов не любил. Зато было настежь открыто окно, и мелкие птички орали нещадно. Но птички ему не мешали.

Весь влажный от пота, малиново-красный Трубецкой с мокрыми, прилипшими к толстому лбу прядками был рад видеть Дашу. Она дополняла коллекцию кафедры. В коллекции были одни аспирантки. Единственный юноша, хрупкий японец, сын очень большой русской мамы Людмилы, однажды поехал в Москву и женился. Тоже на Людмиле и внучке Титова. А может, Гагарина. Или не внучке. Короче: пока из Москвы не вернулся.

На кафедре правили женщины. Графиня Скарлетти, ведущая свое русское происхождение так же, как и Трубецкой, с времен незапамятных, темных, боярских и ставшая графиней всего лишь лет двадцать назад, когда судьба столкнула ее на выставке кактусов с графом Скарлетти, любила Айтматова больше Толстого. Ее диссертация, посвященная повести Айтматова «Тополек мой в красной косынке» («*Topolek my in red kosynka*») сочилась любовью, как яблоко соком.

Не менее преданно относилась к своему предмету и заведующая кафедрой Патрис Гамильтон, кудрявая, легко и мучительно вспыхивающая от застенчивости, отдавшая це-

люю жизнь на то, чтобы прочесть Рыльские Глаголические Листки, три нежных обрывка пергамента, оставшихся от старославянской книги церковно-литургического назначения одиннадцатого века.

– А я волновался, что вы не придете, – торопливо сказал Трубецкой, тяжело поднимаясь навстречу Даше. – Быстрее бежим, а то не успеем.

Глаза его расширились восторгом. Спустились со второго этажа, вышли на ступеньки. На улице парило. Трубецкой расстегнул верхние пуговицы белой рубашки, слегка обнажив богатырскую грудь, задрал к небу голову. Луна была в небе, сияла, горела.

– Сейчас вот затмится, – сказал Трубецкой и шумно, ноздрями, вдохнул в себя лунного блеска. – «Река времен в своем стремленье уносит все дела людей...» Уносит, моя дорогая! А мы забываем об этом! А мы суедемся! Плевать мне, кто будет у нас президентом! Какой президент, когда пропасть забвения!

Даша засмеялась.

– Не думайте вы о своих неприятностях. – Он вдруг покоился на нее промасленным взглядом. – Забудьте, наплюйте.

Она не нашлась, что ответить.

– Уносит все дела людей... А если что и остается... Каков был поэт? «А если что и остается под звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется! И общей не уйдет судьбы!» Вот именно! Общей! – Он перевел дыхание. – Хотите писать – и

пишите. А муж ваш, любовник... Эх-ма! Надорветесь!

– Какой там любовник? – ужаснулась Даша

– Откуда я знаю? Пожрется, учтите!

– Да что вы, ей-богу!

Трубецкой обреченно развел толстыми руками:

– Рыбак рыбака... Я показывал снимок?

Он расстегнул стоящий на ступеньке потрепанный до бархатистой белизны кожаный портфель, долго пыхтел, шуршал бумажками и наконец поднес к самым глазам ее небольшую фотографию.

Мальчик идет по аллее. Худой, рыжеволосый мальчик в шапке. По виду – лет восемь. Вокруг везде снег, снег. Зима. Мраморная богиня с острым снежным горбом на спине. Косые глаза, отбитый локоть. Женщина протягивает ладонь к колену богини. Платок ее темен, и видно, какой он тяжелый от снега. Придет домой, повесит платок на батарею, в комнате запахнет свалявшейся шерстью. Вязали в Рязани, купила на рынке. Ребенок – птенец. Его нужно укутать. Пожрется, как все!

Трубецкой тяжело дышал над Дашиным затылком.

– Алеша. Мой сын. Алексей Адрианыч.

В низком голосе Трубецкого задрожали слезы.

– Здесь Петра. – Он достал носовой платок и с яростью высморкался. – Она вся в заботах. Прасковье – шестнадцать, Сашоне – тринадцать. А знаете, как начинается жизнь?

– Какая?

– Моя, например, вот такая. Иду я по Невскому. Первый раз в Питере. Я вам говорил, что мои из Тамбова? Дед с бабкой уехали в двадцать четвертом. А мать родилась в двадцать пятом в Париже. И Питер в моем эмигрантском сознании всегда был... Ну, что? Ну, венец мироздания. Иду. Здесь как в печке. – Трубецкой отрывисто шлепнул ладонью по груди. – Волнуюсь. Смотрю: кафетерий. На улице. Сел. Сижу, наблюдаю, ем бублик с изюмом.

– Булочку, – поправила Даша.

– Неважно. Ем булку. Вокруг Петербург. Я волнуюсь. Ужасно. Я часто волнуюсь. Встаю, ухожу. Вдруг кто-то меня догоняет: «Мужчина! Вы сумку забыли!» И я весь проснулся. И так началась моя жизнь. *Vita nova*.

– А Петра?

– Что – Петра? Супруга. Детей родила мне. Вернулся от Таты. Там Алечка плачет. Он любит поплакать, похож на меня, я ведь страстно люблю. Ложусь рядом с Петрой, мы все обсуждаем: Прасковью, Сашону. Заботы, расходы. Прасковья влюбилась, а парень с Гаити. И ладно бы: негр! Сам Пушкин был негром! Но остров, Гаити! Что делать? Лежим, обсуждаем. И вдруг – как иглой мне: «Там Алечка плачет!»

Трубецкой опять шумно высморкался. Лицо его стало темнее и шире.

– Смотрите! – Он показал на небо.

От яркой одутловатой луны осталась одна прозрачная, белая долька, которую торопливо затягивало черным.

– Пожрется! Пожрется! – с восторгом ужаса забормотал Трубецкой, беря Дашу под руку, как будто желая сбежать вместе с нею. – Пожрется жерлом! И никто не избегнет!

**9 сентября**

**Вера Ольшанская – Даше Симоновой**

Трудно с мамой. Стараюсь вести себя так, чтобы ей не к чему было придаться. И все-таки часто срываюсь. Вчера безобразно поссорились. Я хотела уйти, спешила, а мама хотела, чтобы я ее дослушала. Встала в дверях и пилит, и пилит, и пилит... И все одно и то же! Если бы хоть что-нибудь новенькое! Я ее слегка отодвинула, но как-то так вышло, что она неловко оступилась и упала. Прямо на журнальный столик рядом с зеркалом. Зеркало разбилось, весь пол в осколках. Хватаю ее, поднимаю, плачу, кричу, а она мне:

– А, ты меня бьешь? Я повешусь!

Господи! Провалиться сквозь землю, и то будет мало! Она оттолкнула меня, поднялась. Глаза сумасшедшие, руки трясутся.

Приходит Гриша. Увидел нас с мамой и сделал такое лицо, будто ему выдрали все зубы.

– Ну, что тут на сей раз?

– Григорий! Она меня бьет! Я повешусь.

– Да кто тебя бьет?

Видела бы ты этот взгляд, которым он меня смерил! Сказать «презрительный» – это все равно что ничего не сказать.

– А ты последи за собой, дорогая. А то ведь опять будешь каяться.

Это он напоминает мне бабушкину смерть. Жестоко. Он знает, как я этим мучаюсь.

Ее смерть целиком на моей совести, Даша. Я знаю, отчего умирают старики. Они умирают оттого, что близкие устают от них и тайно желают им смерти. И я через это прошла.

Бабушка окончательно слегла осенью восемьдесят пятого. У меня был плеврит, я все время болела. В выезде нам отказали. Гриша носился по урокам, деньги кончились. Оставить ее одну в запущенной квартире было невозможно, мы перевезли ее к себе. У нее были такие распухшие ноги, что, для того чтобы доволочь ее от подъезда до машины, пришлось разрезать Гришины огромные дутые сапоги.

Соседка, тетя Катя, прожившая с ней бок о бок сорок лет и меня помнившая «неродившейся», провожала нас. Вокруг тети-Катиной головы стояли от ветра седые кудряшки. В моем детстве это были длинные густые косы, которые она по вечерам расчесывала, свесив над раковиной голову. Тетя Катя поклонилась вслед нашей машине и тихо заплакала.

Мы приехали, с трудом подняли бабушку на второй этаж,

усадили в красное кресло у окна. И я начала ждать, когда это кончится.

Сейчас понимаю, что нужно было сидеть рядом с ней, мыть эти старые, страшные ноги, держать ее руки в своих и кормить ее с ложки. Ласкать эту жизнь, греть ее, сколько можно. А я не смогла. Я ждала ее смерти.

Физический уход лежал на мне одной, и я с ним не справилась. Не могла дышать ее запахом, даже на улице он меня преследовал. Видеть ее желтое изменившееся лицо с потухшими глазами, входить в эту комнату, где она сидела, раскачиваясь, как маятник, перебирая пальцами крошащиеся страницы молитвенника, казалось мне пыткой. Я переступила черту. Когда говорят, что в человека вселяется дьявол, это не слова. Любви к ней во меня не осталось и жалости тоже. Усталость была, раздражение, злоба. Она цеплялась за мою руку, а я отшатывалась, и она не настаивала. Ей хотелось говорить со мной, видеть меня, она кричала, звала, но, когда я, еле сдерживаясь, прибежала из кухни, она замолкала и только, смотрела на меня исподлобья этими потухшими, в глубоких складках, скорбными глазами. Я требовала, чтобы она доедала то, что я готовлю, просилась в уборную, не плакала по ночам и давала бы мне хоть немного поспать.

Жестокость и злоба мои нарастали по мере усталости. Я стремилась убежать из дома, бросала ее и бродила по улицам. О главном я не догадывалась: о том, как ей было страшно. О том, через что проходила она.

Но Бог пожалел нас обоих. Никогда этот день не забуду. Был дождь. Дождь со снегом. Сизая вода с размокшими черными листьями под ногами, ветер, лязг фонарей, комочки птиц. Я медлила возвращаться домой и нарочно прошла пешком от Ленинских гор до проспекта Вернадского. Купила торт в кондитерской – жирный, розовый, большой, с замороженными розочками по углам. Открыла дверь.

Она сидела в темноте на кресле, не спала. Ей трудно было дотянуться то торшера и зажечь свет. Форточка приоткрылась, в комнате было холодно. Я села рядом с ней на кровать, обняла ее одной рукой, другой начала кормить с ложечки этим тортом. И вдруг ее всю ощутила: живую, родную и теплую. Увидела ее знакомые, седые и тусклые, как осенние травинки, волосы, допотопную шпильку в распавшемся пучочке, ее дрожащий маленький мизинец с ноготочком-ромбиком. Особенно этот мизинец!

Меня перевернуло. Я вспомнила, как каждое утро – все детство, лет до тринадцати, может, и дольше – я каждое божие утро, проснувшись, кричала ей:

– Баба!

Слезы полились так, что я уже ничего не видела: ни ее лица, ни белого крема на кончике ложки, – ничего, кроме этого дрожащего мизинца. Я в голос рыдала, прижавшись к ее шее, и все повторяла, как люблю ее, просила прощения, и ужас последних двух месяцев, наш общий с ней ужас, выталкивало из меня вместе с этим криком. И помню: она вдруг

ответила. Своим прежним, внятным и полным достоинства голосом.

– Я знаю, не плачь. Я все знаю.

\* \* \*

Нина сидела за компьютером, не оглянувшись. Даша подошла ближе, погладила ее по плечу.

– Ты уроки делаешь?

– Почти.

– Что такое: почти?

– Ну, значит, что я занята.

Внизу сильно хлопнула дверь, и голос, вечно торопящийся сказать сразу много всего, детский и одновременно хрипловатый, немедленно вызывающий в памяти простодушное сияние серых глаз под толстыми очками, этот женский голос, отдышавшись и выпустив из горла разноцветную, как мыльные пузыри, и такую же хрупкую гирлянду бестолковых приветствий, спросил наконец очень нежно:

– А Дашечка дома?

Даша сбежала с лестницы, обеими руками прижала к себе запах дешевых духов, вспотевшую шею, большое широкое тело с немного задравшейся спереди юбкой и тут же оцарапалась о похожее на частокол украшение.

– Ну где ты была? Наконец-то!

– Мои старички, ты же знаешь, смешные, маразм, конечно, но очень смешные, и пишут, и пишут, и все о любви, сегодня был вечер, ты будешь смеяться, «Второе свидание», и я им сказала: о первом не будем, о первом все помнят, а вот о втором, о втором расскажите, и, что бы ты думала, все рассказали! Как будто вчера. Танцевали, играли, и Гада играла, конечно, уже не звучит, но играла, а Изя Гольщинский, пошляк, не без шарма, – он стал танцевать с Идой Шнурик бразильское танго, смешно, очень мило, но дальше – кошмар, тихий ужас, буквально! Они напились!

– Кто напился?

– Мои старички. Нам нельзя. Я сказала: «Мужчины, без пьянства! Разгонят весь центр!»

– Какой еще центр?

– Ну, я же писала! Наш центр – «Заботу». Еще есть «Надежда», еще есть «Зазноба». Я их умоляла, сто раз умоляла: «Спиртного нельзя. Вас разгонят!» Но там один летчик, в войну он был летчик – четыре инфаркта, инсульт за плечами, двух жен схоронил, – он сказал: «А, дерябнем? Слабо, мужики, нам пойти и дерябнуть?» А я и не знала, а я не следила. Они все пошли, напились в туалете.

– А сколько им?

– Разные. Есть девяносто.

– И все напились?

– Как один. Представляешь?

Лет тридцать назад это лицо с набрякшими мешочками под глазами и густо запудренным кончиком носа и тело, теперь неуклюжее, с задравшейся на животе юбкой, притягивало к себе мужское внимание настолько же радостно и ненасытно, как это бывает с цветами в их жизни, простой, легкомысленной, чистой, когда, и не зная, что им суждено очень скоро увянуть, цветы ждут и любят любого до дрожи – от робких старух с облупившейся лейкой до пчел, темно-желтых, сухих и мохнатых.

Ни тело, ни лицо Дашиной подруги не удивляли мир, как это случается с какой-нибудь надменной красотой, когда, опустивши густые ресницы, она выставляет из платья колени, но в ней – в этой нежной, смеющейся, с белой «бабеттой», – в ней было такое, что вмиг угарали и вмиг забывали надменных красавиц.

Лет тридцать назад все вообще было лучше. Густой снег начинался под Новый год, и все почему-то спешили на дачи, и звук электрички был дольше и громче, чем скрипка с оркестром, а в городе, полном малиновых вспышек, горели все окна, и пьяные люди в своих накрахмаленных белых рубашках смотрели в открытые окна, курили, смеясь, задыхаясь от близости женщин, хлопочущих в комнатах, а по сугробам полз запах лимона из мерзлых киосков, и елка с лиловой звездой на верхушке венчала людское веселье и радость.

Женской красоте не суждено было сохраниться, но она все же успевала расцарапать напоследок до крови чью-то па-

мать и навсегда остаться внутри ее вместе с самыми мелкими и острыми подробностями, вроде звонких от мороза трубок телефонов-автоматов и вкуса арахиса в жареном сахаре.

Тогда ее звали Марго, Маргаритой. Сейчас, в бледно-розовых стенах «Заботы», она стала просто и нежно – Маргошей. Запомнить такое уютное имя не составляло труда даже для самых забывчивых людей, которые тоже были молодыми лет сорок назад, летали в седых облаках в виде летчиков, вскакивали на подножки трамваев, отбивали чужих невест, пели у костра, переезжали в новые квартиры, прощали врагов, запасались картошкой, потом хоронили, потом забывали и так, незаметно седея, толстая, слегка раздражаясь, доплыли до детства.

– Так все напились? – радостно повторила Даша.

Жалость засияла в серых глазах под большими очками.

– Ты так похудела!

– Кто? Я?

– Ну, не я же!

Даша опустила глаза:

– Мы с **ней** вчера утром столкнулись. На почте.

13 сентября

## Даша Симонова – Вере Ольшанской

Вчера мы столкнулись на почте. Заскочила на минутку, стою в очереди, и вдруг они входят: **она** и обе девочки. У меня ноги отнялись. Три года не виделись, а не успела я приехать – она уже тут. Как будто караулила.

Увидела меня сразу, с порога, и сделала движение развернуться, но девочки были тут же, и она сдержалась.

У нее появилось такое выражение, как будто она с разбегу наступила на коровью лепешку. Они пошли к стенду и стали выбирать марки. Я не могла ничего с собой поделывать: следила за ними краем глаза, хотя меня всю колотило. Потом она махнула рукой, как будто что-то вдруг вспомнила, и засеменяла к выходу. Девочки за ней. Я увидела ее слабую согнутую спину, длинные ноги на высоких каблуках, леопардовый жакетик.

О господи, как же я все это знаю!

Приехала домой: Нины и Юры не было, ушли в бассейн. Слава богу, что он хотя бы перестал огрызаться на меня в ее присутствии! Но она и так видит и понимает гораздо больше, чем нужно.

Вчера вдруг спросила меня:

– Мама, мне иногда кажется, что вы невезучие с папой.

Какие-то вы невеселые, правда?

– Ну, нет. Почему? Мы немножко устали.

Она на меня посмотрела с жалостью, как на ребенка:

– Ты если не хочешь, так не признавайся. Пиши тогда лучше романы.

## Любовь фрау Клейст

Хоронили отца, привезенного из швейцарского санатория в закрытом гробу. Сейчас, когда гроб наконец открыли, Грета видела перед собой молодого, торжественно одетого и красиво причесанного человека, совсем не напоминавшего того изможденного кашлем отца, который, прощаясь с семьей на вокзале, ко всем прижимался продавленной грудью.

Дядя Томас громко дышал над головой племянницы и неприятно теребил ее плечо. Она дернула шеей, чтобы освободиться от дядиных пальцев, повернула голову. Незнакомый молодой человек с жемчужным пробором в гофрированных волосах смотрел на нее откровенно, со всей жадной пылкостью. Рот его слегка приоткрылся от удивления, которое, по всей вероятности, было вызвано грустным обликом золотоволосой Греты, наполовину заслоненной громоздкой спиной дяди

Томаса.

Она поспешно отступила в сторону, чтобы не потерять из виду эти восторженные глаза, и дядя Томас, раскисший, как гриб, от рыданий и всхлипов, засунул обратно в карман свою руку. Как только отца опустили в черную яму, откуда пронзительно пахло корнями, Грета испугалась, что теперь молодой человек с жемчужным пробором навеки исчезнет. Но Грета ошиблась. Он дождался ее у выхода и, когда она поравнялась с ним, торопливо вложил в ее прозрачную траурную перчатку бумажку с фамилией и телефоном. Никто ничего не заметил.

Грета решила позвонить в тот же вечер. Отца больше не было, плакала мать, дождь сыпал в окно, и готовились войны, но она не думала ни о чем, кроме того, что сейчас, через пару минут, наверное, услышит его. И услышала.

На следующее утро они встретились, провели в городском саду три с половиной часа и расстались с трудом. Потом опять встретились утром, потом опять вечером, так и пошло.

В маленькой раковине полупустого синематографа, куда они заходили с ослепшими от нетерпения глазами, было прохладно, темно, и, пока на экране узкоплечие люди в черных фраках сжимали в объятиях наивных красавиц, Иахим и Грета висели над бездной.

Наконец, надеясь, что мать, как всегда, проведет утро в церкви, Грета привела возлюбленного домой, и, измученная мигренью, вернувшаяся раньше обычного,

молодая вдова увидела дочку в объятьях мужчины. К тому же совсем обнаженного. Так же, как дочка.

Вечером, после захода солнца и крика, которого прежде не слышали в этой семье, состоялась помолвка.

Шестнадцатилетняя Грета, золотоволосая, как Ева с картины Кранаха, предложила девятнадцатилетнему Иахиму свою небольшую и крепкую руку. Она предложила, а он ее принял. И крики замолкли.

Иахим мечтал о военной карьере. Теперь, поскольку страсть уже не отвлекала его так, как два месяца назад, когда нужно было караулить Грету у школы и водить ее в синемаатограф, он с радостью вспомнил о чести и долге.

Они были уверены, что расстанутся ненадолго, хотя очень странные сны, в которых Грета все примеряла какие-то узкие белые платья, ей начали сниться за день до разлуки. И снились они не напрасно.

Потом уже, после гибели Иахима, поползли неприятные слухи, что сразу же по прибытии в армию его начал преследовать юноша старинного рода, страдавший с пелен отворачиванием к женщине. Иахим, порядочный, чистый человек, делал все возможное, пытаясь отвести несчастного юношу. Но тот не отстал, и Иахим вспылал.

Состоялась дуэль, немыслимая по нынешним временам. На следующий день после этой дуэли Иахима похоронили на границе с Австрией. Пуля пробила горло и вышла сквозь шею наружу в том месте, где мелко курчавились волосы.

Горе Греты было таким огромным, что она не могла даже плакать. Слезы приносили ложное облегчение, которое словно бы унижало ее боль. Все детские мысли о смерти, которая **будет** с любимым и **была** с Иахимом, мысли, давно испугавшие ее, вернулись опять, но только теперь, вспоминая о смерти, она представляла лицо Иахима.

В сороковом году нежная, с жемчужным румянцем мать вышла замуж за врача того туберкулезного санатория, в котором ее покойный муж провел свои последние месяцы. У отчима было поместье неподалеку от клиники. В поместье жила вся семья от начала войны.

Клиника, упрятанная в горах и покрытая снегом, напоминала сахарный дом из сказки, и, глядя на этот дом, трудно было представить себе, что люди в нем кашляют кровью. Однако, несмотря на кашель, озноб, небольшую температуру и раздраженную чувствительность пациентов (симптомы болезни!), волосы женщин, спешащих к обеду в прохладную залу с натертым паркетом, всегда были прибраны и завиты. Совсем обессиленных, ставших теньями, возили на креслах, и плотные, сливочно-сбитые сестры в высоких косынках летали по дому, как белые птицы.

В туберкулезной клинике лечились подолгу, и с некоторыми из больных Грета успевала подружиться. Мать и отчим не понимали одного: как эта девушка, сильная, улыбчивая, похожая на Еву с картины Кранаха, с ее очень ласковым, жаждущим телом, – как она не

интересуется мужчинами и нисколько не кокетничает даже с теми немногочисленными гостями, которые вдруг появлялись в их доме?

Барон Мартин Гнейзенау, кавалер Железного креста первой степени, приехал в Швейцарию вместе с женой. После ранения, полученного под Сталинградом, командование предоставило ему четырехмесячный отпуск. Туберкулезный процесс, внезапно открывшийся у жены, заставил прибегнуть к услугам врачей. Комната их с небольшой верандой, по которой ползли синеватые стебли заледеневшего винограда, была на втором этаже. С веранды виднелся кусок водопада.

Грета Вебер, разгоряченная зимним солнцем, в высоких, на белой шнуровке ботинках, зашла в узкий, как школьный пенал, магазинчик, где допоздна торговали вязаными свитерами и шапками. Склонившись над синим мотком грубой пряжи, она потянула за нитку, и тут за спиной ее хлопнула дверь. Вошедший обратился к хозяйке с сильным баварским акцентом.

Если бы Грету спросили – не в ту, разумеется, минуту, а после когда-нибудь – почему она сразу поняла, что этот человек, совершенно чужой, с его очень сильным баварским акцентом, через пару дней будет целовать ее распухшие, обветренные губы, она бы не знала, как лучше ответить. Был этот толчок прямо в сердце. Точь-в-точь как тогда, с Иахимом.

Она увидела его руку в большой меховой перчатке,

которая осторожно стряхнула с себя излишек снега, потом его профиль, и ровный, глубокий покой, как будто ее поместили обратно в родную утробу, где она, еще не успевшая ничего испугаться, легонько качаясь от плавных движений, как рыбка внутри теплой, сонной, морской синевы, счастливо плывет, никуда не стремится, – беспечный покой охватил тогда Грету. Она обернула к вошедшему голову и даже не улыбнулась. Она только тихо, смущенно взглянула. Сначала в глаза и, помедлив, на губы.

В отличие от ее погибшего жениха барон Гнейзенау был тверд и настойчив. Жену от любил. Он любил ее с детства, и ранний их брак всем казался счастливым. Теперь, когда Юлия так заболела и мятный запах из ее рта (жена сосала леденцы, пытаясь смягчить постоянную сухость) не давал ему забыть, что она в опасности, что может начаться процесс в правом легком, – теперь, в середине войны, ему, офицеру, влюбиться в девчонку?!

Возвращаясь домой после встреч с молодой и сильной Гретхен, пропитанный свежими ее духами, он наткнулся на улыбку жены. Из-под накинутого на похудевшие плечи вязаного шарфа она протягивала горячую, влажную руку. Гнейзенау наклонялся, поправлял ее мягкие волосы, и острый стыд лжи вызывал во всем его теле что-то вроде паралича: ноги становились деревянными, голос застревал в горле.

– Ты, мой родной, что-то долго гулял. Не замерз?

– Нет, что ты. Совсем не замерз.

– А как же по снегу и в легких ботинках?

– А я по дороге.

– Но что же так долго?

Он неопределенно пожимал плечами и, холодея от этого вопросительного и одновременно доверчивого взгляда, спешил на веранду. Стоял в темноте, слушал рев водопада. По ночам Юлия потела так сильно, что он просыпался и переодевал ее, спящую, с тонким, влажным позвоночником, который немного скользил под ладонью, на ощупь казался таким же, как детский.

В марте сорок четвертого года все это закончилось: полковник Гнейзенау твердой военной походкой подошел к водопаду, стал между блестящей отлакированной поверхностью скалы и несущегося сверху ледяного потока, увидел вдаль, в сером небе, кудрявое, с ангельским личиком, облако, сказал: «Meine Mutter!»<sup>1</sup> и выстрелил в сердце. Вода, удивилась слегка, ненадолго, схватила его, обняла и, обнявшись с его уже мертвым, безрадостным телом, сама стала красной, потом розоватой, потом все бледнее, бледнее, бледнее – она все неслась вместе с ним, как с травинкой (воды было много, а он был податлив), потом наконец, то ли вдруг разозлившись, а может, устав, она мощно вздохнула и с ним распрощалась.

Тело Мартина Гнейзенау было обнаружено пастухами на следующий день.

Грета, узнав о самоубийстве, заперлась в своей комнате и не выходила из нее, несмотря на то что мать,

---

<sup>1</sup> Моя мама! (нем.)

испуганная злым, отчаянным выражением, которое она успела поймать на лице своей дочки, каждые пятнадцать-двадцать минут стучалась к ней в дверь. Дядя Томас, весь истаявший от тревоги за Фридриха, еще воевавшего, ходил за сестрой и тягуче постанывал.

Когда закатилось прозрачное солнце, он тихо сказал ей:

– Судьба есть судьба! Вернуться оттуда, чтоб здесь... А Иахим? Смотри, как похоже! Несчастные парни!

## **16 сентября**

### **Вера Ольшанская – Даше Симоновой**

Спала очень плохо, под утро увидела сон. Как будто я в церкви. Стою, сдвинув ноги так тесно, что от напряжения болят все мышцы: у меня начались месячные, и я боюсь, что кровь протечет на пол. Вокруг полным-полно людей. Оглядываюсь и замечаю старуху, которая, накрывшись черным платком, прячет под ним собаку вроде таксы. А я ей киваю: заметят, мол, в церкви с собакой и сразу же выгонят. Старуха приоткрывает платок, и у таксы ее, оказывается, вместо хвоста еще одна голова: маленькая, с быстрыми глазками. Какие у меня теперь простые отвратительные сны!

Я все эти годы, которые прошли после моей операции, прячу от себя правду. Первые недели после больницы я ведь даже мылась, не включая света. Не помню, рассказывала ли я тебе эти подробности: когда они окончательно сняли повязку, мне стало плохо: кожа на том месте, где была моя левая грудь, оказалась такой, будто ее только что сплиссировали, а шов ярко-черный, до самой подмышки. И Гриша ведь все это видел! Он сам захотел посмотреть. Я тогда по лицу сразу поняла, как ему тошно, он не успел этого скрыть.

Когда мне через год сделали пластику, пришили сосок, я заставила себя – заставила, понимаешь? – не вспоминать каждое утро о том, что у меня не грудь, а муляж.

Но я же не могла заставить **его** забыть об этом! И он не забыл. Я уверена. Мы с Гришей – как рыбки в аквариуме. Каждая сама по себе. Изредка заденем друг друга плавниками и опять – врозь. Иногда мне даже приходит в голову, что если бы я умерла три года назад, то, может, и было бы лучше.

**16 сентября**

**Даша Симонова – Вере Ольшанской**

Кому это было бы лучше? Ты разве не связана с ним целой

жизнью?

В субботу и воскресенье мы с Андреем ездили в Нью-Йорк. В Нью-Йорке, как это ни странно, ни разу не поссорились. Доехали до Провиденса, вышли из поезда, сели, как всегда, каждый в свою машину.

Еду медленно, оттягиваю возвращение домой. Мне не то что стыдно и не то что страшно, но хочется побыть одной, прийти в себя. Из той, какая я с ним, вернуться в ту, какая я без него.

Дорога узкая, лес с двух сторон. Смотрю: что-то темное движется. Я сначала не поняла. Сбавила скорость. Один енот оттащивал с дороги другого, только что сбитого машиной. Под убитым была лужа крови. Но этот, второй! Видела бы ты, как торопливо и заботливо он тащил его, как тревожно оглядывался, боясь, что ему помешают! Так у меня перед глазами и стоит.

**17 сентября**

**Вера Ольшанская – Даше Симоновой**

Ты говоришь, что мы связаны целой жизнью. Она у нас неполноценная, эта жизнь, дефективная. Нельзя, чтобы в се-

мье не было детей. Почему ты меня тогда не удержала?

**18 сентября**

**Даша Симонова – Вере Ольшанской**

А как я могла удержать? Ты мне с пеной у рта доказывала, что зародыш – это НЕ ребенок!

**18 сентября**

**Вера Ольшанская – Даше Симоновой**

У старухи, которая мыла кафельный пол в приемной, лицо было маленьким, серым и курносым, как у смерти. Я ждала очереди в операционную, и на мне был халат с темными пятнами чужой крови на подоле. Баба какая-то рядом, на соседнем стуле, колыхалась, как бочка на волнах. Потом пере-крестилась и провыла: «Скорее бы, оспо-о-оди! Сил больше нет!»

Провиденс, разумеется, не Париж. И свадьбу в Париже сыграть много легче, чем здесь, в захолустье, где пахнет крапивой.

В Париже ведь пахнет каштанами, верно? Каштанами, кофе, сырами, ванилью. А здесь? В лучшем случае пиццей и прачечной!

Шутки шутками, но свадьбу своей дочери Слонимские должны были закатить такую, чтобы она сверкнула на всю Новую Англию, докатилась до Нью-Йорка и Вашингтона, встряхнула Чикаго, и дальше, и глубже – по всем проводам, всем магнитам, всем волнам – достигла бы слуха последней букашки.

Но так как отец жениха, Мэфью Плински, давно стал буддистом, и мама буддистом, и даже сестричка, совсем еще крошка с колечком на пальчике – тоже буддистом, пришлось отыграть не одну, а две свадьбы. Одна, целиком для буддистов, была на Цейлоне. Ольга Слонимская, мать невесты, жена известного в Провиденсе психиатра Слонимского, узнала от своей будущей родственницы, Сары Плински, что церемония «должна проводиться с соблюдением местных ритуалов, в национальных костюмах, при участии слонов».

Сразу стало ясно, что на такую свадьбу обыкновенных гостей не соберешь. Никто не поедет, и слишком накладно. На

Цейлон отправились только родители с обеих сторон, свидетель со стороны жениха, свидетельница со стороны невесты, сестричка-буддистка и бабушка Мэфью.

Психиатр Слонимский оплатил дорогу всем, кроме своего будущего зятя. Родителей, бабушку, детку-сестричку он взял на себя. За последние двадцать с небольшим лет семья Мэфью Плински растратила все на потребность буддизма.

Через неделю, вернувшись с Цейлона, Ольга начала показывать фотографии. От их пестроты застилало глаза: влюбленная девочка Саша, невеста, в ярко-красном, с золотом, сари, с уже наклепленной на лоб темной точечкой, и щуплый, очкастый, растерянный Мэфью в саронге, прижимая к себе букеты, взбираются в гору. Здесь их поджидают родители, бабушка, детка-сестричка и два молчаливых, до блеска натертых душистым бальзамом цейлонских слона. На вершине горы новобрачных окружают специально нанятые юноши и девушки, которые бьют в барабаны и открывают церемонию бракосочетания своими народными, гибкими танцами.

И солнце сияет, как хвост у павлина.

Вернувшись в Америку и всех, кого можно, порадовав чудесными фотографиями, Слонимские решили, что все же одной этой свадьбы – увы! – недостаточно. Блестеть так блестеть. Тратить деньги так тратить.

На пригласительной открытке, которую Даша достала из почтового ящика, указывалась дата торжества: 21 сентября в 4 часа дня.

**19 сентября**

**Даша Симонова – Вере Ольшанской**

Не пойти нельзя, обидятся. Я спросила у Ольги, приглашаются ли дети. Она сказала, чтобы Нину взяли обязательно. «Это такое событие, – сказала она, – что у ребенка останется впечатление на всю жизнь». Потом пробормотала, что «Зойкины девки» тоже будут. Они сопровождают невесту к «поруве» и подносят жениху кокосовый орех. Я только спросила: что такое «порува» и зачем жениху кокосовый орех? Сказала: «Увидишь сама».

Мы идем все вместе: Юра, Нина и я. И они идут все вместе: Андрей, Зойка и «девки». Значит, все опять встретимся.

Вчера устроила ему тихую истерику. Он меня оборвал:

– Ты сама не хочешь ничего менять. И не о чем тогда говорить.

– А если бы я захотела?

\* \* \*

Сентябрь – лучшее время для Новой Англии. Он часто

бывает и жарким, хотя вечерами обычно прохладен, и медленно, грустно дрожит океан, и небо становится меньше, бледнее.

Двадцать первого с утра моросил дождик, и сердце Слонимских – их общее, внутрисемейное сердце – дрожало от страха. Дождь мог поломать красоту новой свадьбы и всю ее скомкать. Но дождь был недолгим: солнце высушило последние капли, и птицы запели так складно и громко, как будто им всем оплатили их пение.

По непонятной причине Нина почему-то начала нервничать еще со вчерашнего вечера. Платье, которое они купили в Мэсисе на прошлой неделе и которое так шло ей, внезапно отвергла. Настаивать Даша не стала.

– Зато ты нарядишься, как же! – сказала дочь, напирая на ты, и взмахнула ресницами.

Уселись в машину, поехали. Нина права. Нужно выглядеть так, чтобы ослепить его хотя бы в первую минуту. В ту минуту, когда он заметит ее и быстро (так было всегда!) отвернется. Даша обманывала себя, утверждая, что ехать не хочет и ей это в тягость. Она не могла отказать себе в жалком любопытстве увидеть их вместе. И знала почти по минутам, что будет.

Сначала по ее оранжево-подрумяненному, красивому лицу пробежит паучок страха, потом оно станет настолько веселым, что хочется просто сказать: «слабоумным». Эта веселость, которой Даша ни на грош не верила, вызывала у нее

физическое отвращение. Оно поднималось, как пар, и дальше все виделось так, как сквозь пар. Он со своим привычно окаменевшим, чужим и чудесным лицом, знающий, что на них смотрят, и **она**, с этой, как осколок зеркала, вставленной между щек тревожной улыбкой, входили вдвоем, прошагивали через комнату, утыканную гостями, садились вдвоем на диван и смеялись. **Она** – очень громко. Он – тихо, неслышно.

Дорога заняла чуть больше часа. Нина, высунувшись в окно, подставила ветру лицо и закрыла глаза. Доехали молча.

Стоянка перед большим теннисным кортом пестрела машинами, платьями, шляпами. Даша положила руку на Нинино плечо, словно хотела этим крепким и решительным движением заявить о своей смелости перед тем, что ее ожидало, а Юра слегка сжал ее голый локоть, и так, все втроем – налаженным, прочным, одним организмом – они заспешили на свадьбу. Белый помост, на который сильно светило солнце, был убран цветами и в первый момент восковой белизною напомнил громоздкие похороны.

**22 сентября**

## **Вера Ольшанская – Даше Симоновой**

Звоню, у вас никто не подходит. Как твоя фрау? Я даже, грешным делом, подумала, что ты так увлеклась работой, что и к телефону не подходишь.

### **Любовь фрау Клейст**

В Мюнхене, куда Грета вернулась после войны, среди уцелевших людей и животных бросались в глаза эти женщины. Все они казались черноглазыми и черноволосыми, как будто бы черный был цветом их страха, лежащего в теле, подобно младенцу. Когда эти женщины, опустив испуганные глаза, шли по разрушенным улицам Мюнхена, они старались двигаться быстро и незаметно, хотя в них уже не стреляли и солнце спокойно сияло на небе.

Грета своей белозубой улыбкой и густыми светлыми волосами, заплетенными в косы и уложенными на затылке, как будто корона, всегда выделялась на жалком их фоне.

Франц Клейст, застенчивый молодой человек, не

попавший на поля сражений из-за наследственного диабета и влюбчивый настолько, что даже фотография красивой женщины приводила его в трепет, увидев Грету, лишился рассудка. Она была Гретхен из сказки, та самая Гретхен, с ее волосами. Пока он делал предложение и она, снисходительно прищурившись, разглядывала его, Франц Клейст весь пылал. Она помолчала и вдруг согласилась.

Прошел ровно месяц, и их обвенчали. Франц не представлял себе, за что она полюбила его, боялся наскучить, стеснялся своей полноты, наготы. Когда приближалась ночь, и Грета, спокойная, распустив косы, уходила в ванную комнату, плескалась там и напевала, Франц Клейст, лежа под одеялом, чувствовал себя так, словно его положили на хирургический стол и вот-вот разрежут без всяких наркозов. Каждый раз он не знал, что сказать, когда она, погасив лампу, медленно вытягивалась рядом, каждый раз дотрагивался до ее руки и шелковистого бедра так осторожно, как будто не женщина рядом лежала, а ангел, упавший с высокого неба.

В доме его, несмотря на небольшие следы военных разрушений, по-прежнему пахло старинным деревом, и, хотя еле заметный запах гари примешался к этому сухому древесному дыханию так же, как к мирной жизни Мюнхена примешивалась память о войне, Грета радовалась тому, что и у нее появился очаг. Любовь осторожного Франца, его вечно потные ладони и жадные губы были ненужным дополнением к

домашнему уюту. Но Грета терпела. Что делать?

Когда в открытые окна их спальни с белым абажуром залетал ветер и видел, как на широкой кровати лежит равнодушная молодая женщина, по телу которой елозит толстяк, скосивший кабаньи реснички, то ветер стыдился унылой картины. Спешил в темный бор и вздыхал там надсадно.

За тринадцать лет жаркий ужас страсти, которую Франц испытывал к своей жене, ничуть не утих, но Франц тяжелел и дряхлел, болели глаза, ноги, уши. Глядя в открытое небо над садом, Грета иногда просила мужа остаться на ночь в кабинете и кротко стелила ему на диване шагах в четырех от скелета.

Скелет был прекрасной и смелой покупкой, еще довоенной, когда юный Франц, только окончивший школу, мечтал стать хирургом. Однако не стал. Стал провизором. Добродушный этот скелет с накаченным туго резиновым сердцем, шарами двух легких и вечной улыбкой был преданным другом. Каждый раз, когда Франц, вздыхая, укладывался на постеленном ему диване и собирался закрыть огорченные глаза, скелет вдруг проделывал пару движений, почти не заметных, направленных к Францу, как будто обняться хотел, но стыдился.

Еще через год Франц скончался.

Теперь она мирно, лениво, уютно – одна – засыпала на пышной перине. Никто не терзал ее тело ночами, никто не царапал небритой щетиной.

– Я весь переполнен любовью, ты слышишь? – сказал

бедный Франц незадолго до смерти.

\* \* \*

Гости, смеющиеся сытыми ртами, неуверенно перебирающие седые бородки, покашливающие и что-то застегивающие друг у друга на голых, веснушчатых, розовых спинах, образовывали толпу вокруг торжественного возвышения с его золотыми от солнца цветами. Они то сходились, как будто играли в каравай, то вдруг широко расходились, подобно кругам на зеленой воде, сливались в приветствиях, радостно хлопали.

И он, и **она** были тут и сидели на стульях.

Нина вынырнула из-под Дашиной руки, а Юра, здороваясь с кем-то чужим, отпустил ее локоть, и Даша осталась одна. Вокруг было много знакомых, они ей кивали, они подходили. Несколько подбородков пришлось расцеловать. Внутри заходящего смуглого света все были нежны и любезны друг с другом.

**Она** встрепенулась: увидела Дашу. И он, сидящий рядом и забросивший на спинку стула свою столь знакомую руку, слегка повернул влево голову. За пятнадцать с лишним лет они научились не узнавать друг друга и не пересекаться взглядами, встречаясь на людях. Это было похоже на легкий наркоз, который поражал их одновременно, хотя они двигались и говорили. Каждая такая встреча усиливала взаимное

раздражение, за каждой следовали Дашины слезы, каменное его молчание и ссора, долгота которой зависела лишь от того, насколько они стосковались телесно.

Он скользнул взглядом по Дашиному лицу и отвернулся. Рука сидящей рядом жены оторвалась от пятнистой сумочки, лежащей на ее колене, подобно дрессированной, свернувшейся кольцом змее, упала на его аккуратно подстриженную голову сверху и начала ерошить, перебирать и вытягивать из затылка послушные волосы, как будто они, эти волосы, принадлежат ей, растут из нее, и вот она их теребит на досуге.

Из дома, смотрящего прямо на луг своими раскрытыми окнами, вышли жених с невестой и тут же застыли на верхней ступени широкой и мраморной лестницы, давая возможность общелкать их быстро – и сзади, и спереди – стайке фотографов.

Невеста, единственная дочь Ольги Слонимской, в прошлом директора комиссионного магазина на Малой Бронной, и Леопольда Слонимского, доктора, была вся в огромном, раздутом завистливым ветром сверкающем платье. Его очень длинный струящийся шлейф несли над травой два чудесных создания. Похожие как две капли воды. Они были старше немного, чем Нина, румяней ее и гораздо приветливей. С первого взгляда девочки напоминали свою мать, ту, которой она была лет двадцать назад, когда их отец, сидевший поодаль от Даши, впервые увидел ее и влюбился. Они

широко улыбались, как мать, но только без страха, который в улыбке их матери вечно присутствовал. Глаза же их были отцовскими. И по траве они вышагивали тем легким, размашистым, сдержанным шагом, который она узнавала по звуку. Но больно не это. Если бы они были похожими и на мать, и на отца, но по отдельности, а не так, словно в каждой из них воплотился андрогин! Не так, словно в каждой осталось то утро, а может быть, ночь, когда о чужой и неведомой Даше и не было речи. О Нине – тем более. А мать и отец были вместе и делали этих вот девочек так же, как вскоре затем была сделана Нина.

Она была сделана им, их отцом, вместе с Дашей. Они были сделаны им, их отцом, вместе с Зоей. Теперь веселятся все вместе на свадьбе.

Даша посмотрела на свою дочь. Нина, неловкая и по-детски толстая, с нежными, незагорелыми коленями и очень кудрявыми волосами, стояла, привалившись к Юриному плечу, без тени улыбки. Родной, ярко-русый и плотный цветочек, которому скучно от взрослого шума. Она поймала материнский взгляд и с вызовом зачихнула поглубже в короткую джинсовую юбку свою белую, совсем не для праздника, простую рубашку. И Юра поймал ее взгляд. Находясь в том состоянии веселого оживления, которое нечасто наступало у него, человека раздражительного, он правой рукой прижал к себе дочь и Даше, жене, улыбнулся беспечно.

Дойдя между тем до порувы, а проще сказать, до помоста,

украшенного белыми цветами и освещенного солнцем, жених и невеста остановились.

Сара Плински, мама счастливого Мэфью, сверкая холщовой оранжевой тогой, достала откуда-то длинный кувшин, а папа, в простом пиджаке, с тюрбаном на затылке, плетенную крупно корзину. В корзине был рис, но не белый, а черный. Невеста, вся вспыхнув, взглянула на девочек, все еще застенчиво держащих ее серебристый, струящийся шлейф, поцеловала каждую из них, и девочки победительно посмотрели на родителей. Их засмеявшаяся радостно и громко мать, которая очень желала, чтоб не было Даши, припала всем телом к плечу их отца. Отец их, которого Даша любила (и он ее тоже!), излучал такую сильную гордость за этих своих хрупких дочек, что Даше пришлось отвернуться.

**23 сентября**

**Даша Симонова – Вере Ольшанской**

Были на цейлонской свадьбе. Смех и грех. Слон там не нужен, потому что сам Лева с годами стал очень похож на слона. Ольга напилась, но не так, как обычно, а мягко, тактично, растроганно. В середине вечера буддисты выдохлись,

и началось настоящее веселье. Пришли русские музыканты, привели с собой блондиночку в прозрачном платье, и она спела все, что полагается. Сначала: «Виновата ли я, виновата ли я», потом: «Веселья час и боль разлуки...», а под конец, слегка уже охрипнув, «На позицию девушка провожала бойца...». Ноги у большинства наших дам уже не те, что двадцать лет назад, для танцев пришлось сбросить туфли. Однако все прыгали и веселились.

**Она** тоже прыгала, свирепо работая локтями. Андрюша сидел в сторонке, смирный, спокойный, и девчонки без конца подбегали к нему целоваться. То одна, то другая. На меня он не взглянул ни разу. Это было в воскресенье. В понедельник я пропустила семинар Трубецкого и почти целый день писала «фрау». Сегодня проснулась и не могу понять, почему у меня такая тяжесть на душе от этой свадьбы? Что там было?

## Любовь фрау Клейст

Прошло восемь лет со дня смерти Франца. Ей стукнуло тридцать девять, и на нее по-прежнему оглядывались мужчины, хотя красота чуть заметно подсохла, как сохнет в кувшинчике ветка мимозы: цветы все на месте, но свежесть исчезла.

Денег, доставшихся фрау Клейст после мужа и

отчима с матерью, тоже умерших, могло бы прекрасно хватить ей на жизнь. Но она со страхом почувствовала в себе знакомую тоску и, чтобы отвлечься, взялась преподавать рисование в мужской гимназии.

Новый ученик появился сразу же после рождественских каникул. Ему не исполнилось и шестнадцати, но широкие мускулистые плечи и выпуклая грудь, на которой он, дождавшись весеннего солнца, все время расстегивал школьный свой китель, говорили о том, что молодой человек, еще оставаясь, по сути, ребенком, способен на чувства мужчины. Мать Альберта была испанкой, и сын унаследовал от нее пылкий южный темперамент.

Фрау Клейст чувствовала острое волнение, входя в класс, где среди прочих учеников, развязных, прыщавых, напоминающих молодых собак, которые до хрипоты лают за забором и на скакивают на гостей своими мокрыми поцелуями, спокойный, с густыми ресницами, небрежно развалившись и подпирая рукой свою еще детски припухшую щеку, сидел этот мальчик.

На жизнь фрау Клейст надвигалось несчастье. Иногда ей казалось, что она плывет по глубокому озерному покою, а этот кудрявый взлохмаченный отрок плывет, веселясь, рядом с нею. И вдруг ей приходит в безумную голову погибнуть самой и его погубить. Сначала она замирает от страха, но он все смеется, смеется, смеется, и страх у нее постепенно проходит.

Прошел месяц, и фрау Клейст обнаружила у подростка редкие способности к рисованию. При

первой возможности она сообщила родителям о своем открытии. Отец попросил ее дать Альберту несколько частных уроков.

Когда наступило воскресное утро, гудящее колоколами (шла Пасха), и фрау Клейст в ожидании его прихода посмотрела на себя в зеркало, она не узнала себя. Лицо ее напоминало тяжелую красную маску, слюна стала кислой.

Альберт немножко опоздал и, сильно смутившись, сказал, что у мамы мигрень и что папа был в церкви, а он, чтобы маме помочь... Фрау Клейст вскинула глаза к потолку, давая понять, что он в оправданиях совсем не нуждается. Альберт замолчал. Он был еще мальчик, жил с мамой и папой, а женщина с прищуренными глазами, у которой золотые волосы на висках уже начинали немного бледнеть, и их приходилось подкрашивать, вдруг спросила, не хочет ли он выпить кофе. А может быть, просто стакан лимонаду? Альберт покраснел, и фрау Клейст услышала чистый, оглушительно громкий стук его неискушенного сердца.

Пока он пил лимонад, она, пошуршав чем-то в холодильнике, наклонилась через плечо молодого человека и протянула руку к сахарнице. Ее маленький, похожий на вишневую косточку сосок сверкнул через тонкое платье. Альберт вскочил и остановился с опущенными ресницами. Фрау Клейст подошла ближе к нему и осторожно положила на его плечи свои еще тонкие, сильные руки.

Занятия рисованием происходили два раза в неделю. Тело Греты Вебер распустилось так ярко, так нежно, как распускаются только женские тела внутри очень мощной любви и только цветы после сильного ливня.

Родители были довольны. Фрау Клейст предложила мальчику провести последнюю неделю каникул в ее доме на острове Бальтрум, попробовать силы в пейзаже.

– Ах, как вы добры! – сказала мать Альберта, дотрагиваясь до руки фрау Клейст. – Он просто влюблен в эти ваши занятия!

На ее среднем и безымянном пальце был легонький темный пушок, как у сына.

**10 октября**

**Вера Ольшанская – Даше Симоновой**

Гриша сказал, что ему опять нужно по делу в Москву. Сказал и вдруг весь покраснел. Опять чувствую, что он врет. Кто-то у него есть в Москве. Или нет? Ведь он никогда не предавал меня. Никогда не забуду, как три года назад, когда нам объявили, что у меня карцинома, он заплакал. Мы вошли в лифт, и Гриша не мог нажать кнопку, тыкался куда-то мимо. Потом все-таки нажал, и я увидела, что кнопка бле-

стит: палец был мокрым от слез.

У меня нет сил каждый день извиваться в кольцах этой жуткой ревности, этих подозрений! Я больше так не могу! Вчера решила: пойду и спрошу напрямую.

Пошла. Он сидел за компьютером. Поднял на меня глаза, и я вместо этого спросила, сколько он собирается пробыть в Москве. Сказал, что вернется в начале декабря. Почти месяц. Уезжает он через неделю.

– Не забудь, – говорю, – шапку.

– Какую? Тепло же!

– Это здесь тепло.

У нас действительно тепло, почти лето. Даже листва не слетела. Вчера из окна увидела, как по плющу стекают ручейки крови: так он покраснел за ночь.

В последнее время я почему-то часто думаю о смерти. Не о своей, а о смерти вообще. Свою я настолько же не могу представить, как не могу представить себе Бога. *Он* есть, и *она* тоже будет. Но как бы я ни старела, сколько бы опыта у меня ни прибавлялось, я ничего не знаю об этом, точно так же, как не знала раньше.

Помню, как мы с Лидкой ездили на Красноярское море. Нам было лет восемнадцать. Познакомились в пансионате с тремя парнями, студентами-медиками. Все трое были Сашами: Саша-белый, Саша-черный и просто Саша. Парни предложили сбежать из пансионата в лес и переночевать в охотничьей избушке на берегу заповедного озера. Пошли. Из-

бушка была – чудо. Два закутка с печкой, темная, вся в золотой паутине. Стол на улице.

Пошли с белым Сашей за водой. Тучи комаров, стволы скрипят, трава поет, а вода в озере такая чистая, что всех головастиков видно. Вернулись, разожгли печку. У Саши-белого и у Саши-черного заблестели глаза.

И вдруг завалилась семья: муж, жена, семилетний мальчик и мать мужа, алкоголичка. Почему они оказались в этой избушке, куда двигались, не знаю, не помню. Муж, мрачный мужик с жесткой бородкой, которую он все время поскребывал согнутым, как крючок, указательным пальцем, сказал нашим медикам:

– Мамаше – ни капли! Она на лечении.

Мать – робкая, опухшая, ноги и руки в струпьях, глаза измученные. На сына смотрела затравленно.

Мы улеглись на полу в своем закутке. В осколке окошка, как сейчас помню, висел желтый месяц. Посреди ночи мать начала плакать и просить водки. Сын заорал на нее, она затихла.

Потом, когда все заснули, она все-таки выпила, вернее, долизала остаток спирта, который был в телогрейке у черного Саши. К утру у нее наступила горячка. Тут уж никто не мог спать. Она ползала по полу и выла. Не плакала, не кричала, а выла, как волк, и все пытались целовать нам ноги. Сын ударил ее половником по голове. Один из ребят сказал, чтобы ей все-таки дали выпить, потому что иначе она умрет.

– Пошел бы ты... знаешь? – заорал сын.

У старухи началась рвота, судороги, и к утру она умерла. Мы с Лидкой спустились к озеру. Оно пенилось перед нами в тумане, белое и теплое, как надоенное молоко. Восход только начался, птицы свистели вовсю.

Через час мы вернулись. Сын ушел за подводой в деревню, тело лежало под деревом, прикрытое одеялом. Саши сидели на крылечке растерянные и курили. Еще через полчаса сын приехал с подводой. Лошадью правил старик, не сказавший ни слова. Они подошли к умершей и приподняли одеяло.

Старуху нельзя было узнать. Если бы мне не сказали, что это она, которая только что выла и ползала в собственной рвоте, я бы не поверила, что смерть может так изменить человека. Она была очень спокойной. Спала, отдыхала. Пальцы, сплетенные и сложенные на груди, немного топорщились своими верхними заостренными фалангами, как это бывает у святых на византийских иконах, лицо было тихое, тонкое, чистое и молодое.

\* \* \*

Профессор Трубецкой поссорился с профессором Янкевичем, но графиня, любящая Айтматова, тоже поссорилась с профессором Янкевичем еще два года назад (хотя с профессором Трубецким она поссорилась раньше), и кафедра оказалась под угрозой.

Профессор Янкелевич, чье детство и отрочество прошли в Японии, гордый тем, что последние тридцать четыре года он смотрел свои сны исключительно по-японски, а думал при этом по-русски, наглухо закрыл дверь кабинета, сел за стол, загородился портретом жены (в большой белой шляпе, с букетом ромашек!), затих и надулся.

Трубецкой, закусив нижнюю губу, ходил по коридору второго этажа и так громко наступал на пятки, что у графини на первом этаже начался нервный тик.

В это же время обнаружилось и другое обстоятельство: на кафедру поступило письмо, хотя и по-русски, но гадкое, полное диких намеков. Поскольку заведующая кафедрой, маленькая, застенчивая женщина, влюбленная в Рыльские Глаголические Листки, не знала, что делать с таким документом, она позвала Трубецкого, над чьей головой и сгустились все тучи.

– Here. You just take a look<sup>2</sup>.

– What is it, Patrice?<sup>3</sup>

Заведующая испуганно отвернулась к окну, и Трубецкой, шумно, с достоинством высморкавшись, принялся за чтение:

« ... бессовестно проедаая деньги, доверенные ему университетским начальством и доверчивым американским правительством, хапая направо и налево так называемые гранты на совершенно не нужные американской науке псевдопро-

---

<sup>2</sup> Ну, вот. Посмотрите. (англ.)

<sup>3</sup> Что это, Патрис? (англ.)

екты, профессор Адриан Александрович Трубецкой бессовестно крутится в России, вступает в отношения с нечистоплотными замаравшимися людьми, пользуется их средствами для своего проживания и тем же содержит вторую семью, состоящую из незаконной жены и ребенка. Причем эта жена, целиком и полностью висящая на шее Трубецкого, может позволить себе нигде не работать в России и в частности в Санкт-Петербурге.

Но этого недостаточно. Два года прожив в Провиденсе и проработав за гроши на кафедре славистики, я воочию убедилась, в каких отношениях профессор Трубецкой состоит с зависящими от него в их научной и литературной работе малоимущими американскими аспирантами. Особенно женского пола. Пользуясь своим влиянием, профессор Трубецкой заставляет аспирантов дни и ночи проводить в библиотеках, разыскивая нужные ему материалы.

А что касается женщин-аспиранток, то могу привести примеры того, как ведет себя профессор Трубецкой на работе. Дверь своего кабинета, за которой он неизвестно чем занимается и которую по регламенту, установленному в Соединенных Штатах Америки, нужно держать широко открытой, он запирает частенько на ключ изнутри...»

Дальше Трубецкой читать не стал и подлый документ смял с такой яростью, что заведующая всплеснула своими нежными руками:

– They all got the copies!<sup>4</sup>

Оказалось, что вся кафедра, включая секретаршу, получила копии.

– Так, – громко и смачно сказал Трубецкой. – И что же мне делать?

– You have to finish reading<sup>5</sup>, – слабея, попросила заведующая.

Остаток письма был совсем омерзительным. Если верить «фактической достоверности» изложенного, профессор Адриан Александрович не только пристаёт к студенткам за закрытой дверью своего кабинета, но и склоняет многих из них к незаконному сожителству, обещая помощь в будущем устройстве на работу, а этим, как известно, легко расположить к себе всякого человека, получившего не самое популярное в Соединенных Штатах Америки образование в области славистики.

– А! – проревел Трубецкой, возвращая письмо. – Она отомстила. Я знал это. Господи! Мы не продлили контракт. Все понятно.

Дело обстояло так: кафедра славистики, на которой профессор Трубецкой трудился вместе со своими коллегами, имела возможность приглашать из Москвы и Петербурга преподавателей русского языка, селить их в своем общежитии, платить очень скромные деньги с тем, чтобы они со-

---

<sup>4</sup> Все получили копии! (англ.)

<sup>5</sup> Прочитайте. (англ.)

здавали внутри университета глубоко народную славянскую атмосферу. Включались: блины, кинофильмы «Вокзал для двоих» и «Летят журавли», сибирская баня, гадание при свечах плюс песни, плюс пляски.

Контракты заключались на год, и по истечении срока носители чисто славянского духа с неохотой покидали чужую, но мирную, тихую пристань для бурного моря далекой отчизны.

Такого, как это письмо, между тем никогда не случилось.

– Я не могу не отреагировать, – покрывшись бурыми пятнами, прошептала заведующая. – Тогда она оклеветает всю кафедру, нам сразу закроют программу.

– Логично, – сказал Трубецкой и звонко, как груда камней, рухнул в кресло. – Но мне-то что делать? А Петра? Прасковья с Сашоной?

– Нам нужно ответить, – еще тише сказала заведующая. – Иначе вся ваша карьера...

– Карьера? – презрительно переспросил Трубецкой. – Какая такая карьера?

Патрис наклонила кудрявую голову.

– Ну, что ж? Нищета, срам и старость! – И Трубецкой с размаху закрыл лицо мясистыми ладонями. – Страна дураков и совсем безнадежна. Ирак! Безобразие! Там, – он резко махнул на окно, в котором, чернея, притихли вороны, – там тоже хватает. Там Путин и кровь. Миллиарды. Старик Карамазов и все его дети. Ах, господи боже, да что говорить!

– Но надо ответить...

– Все катится градом! Везде. Так и надо. Рожают детей из пробирок, и что они думают? А? Вы скажите?

– Я хотела вас попросить, Адриан. Если это дойдет до начальства...

– Что – это? – опять заревел Трубецкой.

– Никто не будет копаться в вашей личной жизни, – तो ропливо забормотала она. – Но если хоть одна из ваших аспиранток на вопрос, пытались ли вы...

– Пытался я – что? И кому я пытался?

– Пытались ли вы добиться ее... расположения... когда... при закрытых дверях кабинета... Ведь я вам сто раз говорила: «Откройте!» Регламент!

– А я не открою! – побагровел Трубецкой и всей тяжестью привстал на огромных ногах, но сдался и рухнул обратно. – Поскольку желаю мечтать! В кабинете! В своем кабинете! Желаю мечтать и раздумывать! Я им не робот!

Дело пахло большими неприятностями. То, что любое обвинение в сексуальном домогательстве по отношению к подчиненным не оставляется без внимания и может закончиться увольнением, знали все, и все боялись этого. К тому же профессор Янкелевич, лично ненавидящий Трубецкого за его популярность, не погнушался бы и клеветой на своего врага, будучи, однако, чистосердечно уверенным, что, потопив Трубецкого, он служит высоким и нравственным целям.

– Мы сделаем все очень просто, – прошелестела заведую-

щая. – Я поговорю, приватно, разумеется, со всеми нашими аспирантками, и каждая подпишет опровержение. Так что, если дойдет до самого верха, мы будем уже подстрахованы...

– Ах, делайте что хотите!

И, схватившись за виски, Трубецкой вскочил и, отпихнув кресло, вышел из комнаты.

## Любовь фрау Клейст

Остров Бальтрум рано просыпался и рано засыпал. Он был, как положено раю, спокоен, и солнце так горячо и тщательно прогревало каждую песчинку, что утром, уставшие от любви, ослабевшие от этой огромной, смеющейся силы, которая с ними творила что хочет, они шли на берег, пустынный, залитый как будто густым молоком, разувались и по кромке лопающейся воды, взявшись за руки, уходили далеко.

Камни звякали под ногами, песок мелодично похрустывал. Тонкие скелеты больших длинных рыб и скелетики малых, раздавленные панцири умерших морских существ, сизые куски раковин, разваренные водоросли, суетливые крабы, тонконогие чайки – все, и живое и мертвое, покорно сияло под солнцем, не думая вовсе о смерти и жизни. Все было похожим одно на другое: и чайка на чайку, и панцирь на панцирь, но не было ни одной одинаковой птицы и ни одного – такого же точно, как тот или этот, – прогретого камня.

Разговаривали они немного. Любой разговор, даже самый ничтожный, привел бы их сразу к тому, чем вдруг стала их жизнь. Их жизнь стала тайной. И если бы кто-нибудь из посторонних людей вдруг догадался о ней, они бы погибли.

Когда по ночам фрау Клейст смотрела на белеющее в темноте лицо своего возлюбленного, ей приходило в голову, что она никогда и никого не любила так сильно, с такой беззастенчивой, радостной жадностью. Едва только он засыпал и все детское, пушистое и робкое проступало на этом лице, ей тут же хотелось обнять его, спрятать, закрыть своим телом, и если придут убивать их обоих, то сначала пускай расправляются с нею.

На исходе счастливой недели фрау Клейст почувствовала себя плохо. Когда они с райского острова плыли обратно на пароме, она простояла почти целый час, свесившись за борт, извергая из себя пенистую желтую жидкость и корчась от того, что в горле ее как будто раздавливают лимоны.

Доктор Штайн, зрачки у которого мутнели всякий раз, когда он тощими руками в резиновых перчатках безжалостно выворачивал подернутые перламутром внутренности своих пациенток, тотчас объяснил ей, в чем дело.

– И я полагаю, что двойня, – своим неприятно высоким, отрывистым голосом сказал доктор Штайн. – Поскольку прощупал у вас две головки.

Фрау Клейст спросила, когда можно сделать аборт. Доктор Штайн приподнял брови и попросил ее еще

раз взвесить свое решение. Он напомнил, что фрау Клейст забеременела первый раз в жизни, а ей уже сорок, и, прервав эту беременность, она обрекает себя на бездетность. В ужасе от того, что он найдет причину отказать ей, фрау Клейст прижала ко рту обе ладони:

– Нет, доктор, прошу вас!

Процедуру назначили на десятое июня.

Как он благоухал, этот жасминовый куст под окном палаты, в которой она лежала после того, как все было кончено! Скашивая глаза на заснеженную цветами тяжелую ветку, фрау Клейст ощущала внутри такую пустоту, как будто ее не просто освободили от беременности, а вырезали из нее все, что было живого. Она пыталась не смотреть на этот жасмин, который был весь полон светом и радостью жизни, она отворачивалась, но он, обратившись к ней всеми цветами, насильно притягивал взгляд.

Внутри пустота, чернота, ни кровинки. А он так сияет назло ей, так дышит! Под вечер она задремала.

...фрау Клейст плохо запоминала свои сны, но этот запомнила. Она плыла под водой, не двигая ни ногами, ни руками, навстречу ей плыли другие. Во сне она поняла, что это уже не она, что она умерла, и знала, что было легко и не страшно. Какая-то лодка выскользнула навстречу, и в лодке был свет, много света. Фрау Клейст хотелось рассмотреть тех, кто сидел в ней, но лодка, слепя своим светом, исчезла.

«Наверное, беженцы», – подумала фрау Клейст.

И тут вдруг вся кровь прилила к ее сердцу: там были «головки»! Он их не убил, он их выпустил в реку! Чудной доктор Штайн: разве трудно признаться?

\* \* \*

Профессор Янкелевич стал похож на тень, профессор Трубецкой располнел еще больше, а граф, муж графини Скарлетти, подрался с соседом, который задумал отнять у него виноградник. Графине пришлось удалиться в Тоскану.

Все понимали, что на кафедре должно произойти что-то на редкость неприятное, унижительное для всех и, может быть, даже опасное. И, как это часто происходит с людьми, которые и хотели бы отвести несчастье, но не могут, все стали покашливать, сморкаться, пожимать плечами, и то веселое оживление, которое отличало кафедру славистики с ее чисто русским и подлинным духом, исчезло бесследно. Несколько раз Трубецкой делал осторожные движения в сторону Даши, как будто хотел посекретничать. Даше было не до него, и она не реагировала.

Наконец он не выдержал и после семинара попросил ее заглянуть к нему на «очень – увы! – непростой разговор».

– Садитесь, – сказал Трубецкой и, презрительно улыбнувшись тому, кто, может, сейчас наблюдает его поведение, закрыл за Дашей дверь своего кабинета. – Вас видели месяц назад.

– Меня? Где?

Он отвел глаза:

– Подумайте. Мне и сказать вам неловко.

Платье прилипло к Дашиной спине.

– Ну, все равно! Вас видели, когда вы выходили из мотеля на 134-й дороге. Там бензоколонка. Анжела Сазонофф вас видела. Вы были с любовником. Не нужно сейчас отвечать! Вы молчите. Об этом все знали еще до отъезда. До этого, вашего... До Мичигана.

– О чем они знали?

– О вашем любовнике. Все русские в городе знали об этом, и все говорили. Я это тогда пресекал. И здесь тоже знали. Но я и Патрис – мы за вас как гора.

Трубецкой закурил, но, вспомнив, что и это запрещено, погасил сигарету в пепельнице и сморщился.

– И что они знали? – пробормотала Даша.

Он замахал руками:

– Ах, боже мой! Маленький город! Тут муха летит – и все слышат! И все обсуждают. А вы на виду. Вы красивы.

Даша хотелось одного: вскочить и уйти. Трубецкой виновато перевел дыхание и искоса посмотрел на нее:

– Моя дорогая! Позвольте мне начистоту. Мы с вами старинные друзья, не первый день... Вы пришли поступать в аспирантуру, и я сразу понял, что никакого толка не будет. Вы не академик! Нисколько! Ни на йоту. Мы приняли вас, потому что... кого же еще принимать? Вокруг одна серость! Она

так и липнет! Да. Серость. Мы приняли. Как вы учились? Смеясь и виляя хвостом. Несерьезно. Хотя вы талантливы. Очень, на редкость. Но вам наплевать на науку. Мне тоже. Но я-то хоть делаю вид! Подождите! – Он свирепо оглянулся на дверь, за которой что-то прошуршало. – Из вашего выпуска все защитились. Давно защитились, хотя и бездарно. Потом разговоры. Да, да, разговоры! Ведь маленький город! Вас видели там, сям... Без мужа. Позвольте, я прямо, как есть! Да, без мужа. И толки! Ведь это Мордасов, чистейший Мордасов! Но я и Патрис... Мы всегда пресекали. Во-первых: кто знает? Кто свечку держал, а? Никто! И прекрасно! Но тут вдруг Сазонофф... Когда мне сказали, я весь обосрался!

Даша широко открыла глаза и вспыхнула, но Трубецкой и не думал шутить. Она вспомнила, что он все-таки родился не в России, а в Чехии. Ей стало смешно, и она покраснела.

– Да, я обосрался в штаны! – смакуя, повторил Трубецкой, не замечая ее покрасневшего лица. – От страха за вас. За этой Сазонофф стоит Янкелевич. Сазонофф – его аспирантка.

– И что тут такого, что я была рядом с мотелем?

– Не рядом, а вы выходили, – с нажимом объяснил он. – Они ведь хотят нас подставить. И вас, и меня. Сазонофф сказала, что в этом мотеле... что вы... Ну, вы были со мной.

Даша вскочила.

– Садитесь! А вы чего ждали? В Кентукки вон новое правило: профессор при поступлении на работу подписывает

бумагу, что не собирается делать женщине любовь на территории университета. Бумагу! Не шутки! У нас ведь раздолье одним педерастам! Есенин, старик, сын поэта, Сергея, он знает что мне сказал? Он мне рассказал, что он со своей женщиной, с возлюбленной, уезжал не просто в другой штат, а в другую страну, чтобы сделать любовь! Да! Вот вам! Мотался в Канаду! И это когда еще было... А тут вот Портнова... Мы ей не продлили контракт, вот в чем дело. А я идиот. Я ведь всем доверяю. Тогда, когда в Питере Аля был болен, мы с Татой искали врача. И я ей позвонил. – Он бурно задышал. Так было во все времена. Мы всем им мешаем. Они обожают разврат. Отсюда их страсть к голливудским скандалам.

– Они – это кто? – спросила Даша.

– Они – это люди. Разврат обожают, любви не прощают. Толстой это очень прекрасно заметил. Любовь смертью пахнет, и в этом все дело.

Он вдруг ухватил себя за косо выстриженные виски.

– Мы все как в капкане! Да где мы живем? Великая, бедная дура Америка! Саму себя высекла! Что можно требовать от людей? Нечего от них требовать! Им скажут: «Беги!» И бегут. А скажут: «Иди доноси!» – донесут! А скажут «Молчи!» – замолчат. Вы не знали? Мозги-то промыть разве трудно? Вот мне говорят: «коммунизм», «фашизм», а я говорю: **«человек»!** Не с коммунизмом имеешь дело, и не с фашизмом, и не с рабством, а с **че-ло-ве-ком!** И все проблемы от **че-ло-ве-ка!** Вот так вот, моя дорогая! Ведь вот они гово-

рят: «Глобальное потепление»! Что такое глобальное потепление? Засухи, ураганы, бедствия природы и стало быть – голод! Как следствие. Так ведь? Всегда были войны, не спорю. Но войны-то были какие? Грабеж был в основе всех войн, вот какие. Рабов получить и заставить работать. А что нам теперь угрожает? Кому теперь нужно рабов, когда их кормить будет нечем?! Следите за мной?

Он свирепо перевел дыхание. Даша испуганно кивнула. На столе у Трубецкого зазвонил телефон, и Трубецкой, приподняв трубку, с размаху шмякнул ее обратно.

– Я что говорю? Что теперь будут войны за то, чтоб убить эти лишние рты! Убить, кого можно, и долю их съесть! Вот вам «потепление»! А умники эти все знают! У них «инженерия»! Да! «Социальная»! Они думают, что человеческое общество... – Трубецкой широко раскинул руки, как будто пытаясь обнять все вокруг. – Что общество наше – такая машина. Ее запустить поумнее и – баста! И ведь объяснят что хотите! Ведь, с *их* точки зрения, мерзавцев-то этих, всего только нужно: прикрыться идейкой! А там и валяй! Начнут убивать, если есть будет нечего, и все объяснят: почему, мол, так надо. Вы ходите в церковь?

– Нет, я не хожу, – испуганно сказала Даша. – Вернее, нечасто.

– И я не хожу. Не желаю. Вы слышали, что они тут сочинили?

– Они?

– Ну, господи! Епископальная церковь! Вот я прочитал, что они теперь учат, что нужно не так говорить, как мы раньше: Отец, Сын, Святой Дух, а иначе! Вы знаете как?

Трубецкой с наслаждением высморкался.

– Сын и... Не падайте! Матка!

– Что? – переспросила Даша.

– Вот именно! Я по-английски скажу вам Son, Mother and Womb!<sup>6</sup>

– Зачем это?

Трубецкой расхохотался:

– Что значит – зачем? А «корректность», забыли? Чего ж все мужчины, мужчины? Пушай, значит, женщине тоже потрафим. И вспомним про матку. Потом про пузырь. Мочевой. Про печенку. – Он замолчал и красными воспаленными глазами уставился на Дашу. – Сказал ведь Господь: «Когда вы приходите являться пред Лицо Мое, кто требует от вас, чтоб вы топтали двory Мои? Не носите больше даров тщетных: куренья отвратительны для меня, новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззакония и празднования, новомесячьи ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня, Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои, и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу. Ваши руки полны крови».

– Откуда это?

---

<sup>6</sup> Сын, Мать и Матка. (англ.)

– А, это? Их Книги Исаии. Мы все хороши. – Он быстро взъерошил остатки поседевших волос. – Они меня выгонят, денег не будет. Прасковья уедет, а Петра пойдет мыть полы. Я с горя подохну.

– Но вы говорите, что Сазонофф видела меня. При чем же здесь вы...

– Да, – с веселой готовностью закивал Трубецкой. – Я здесь ни при чем. Но ей показалось. Они психопаты. Они с Янкелевичем. Им безразлично. У них везде черти, чертихи, чертенки...

– Зачем я вернулась! – с сердцем прошептала Даша.

Трубецкой быстро и недоверчиво посмотрел на нее:

– А вы что, могли бы **так** жить?

– Как жить?

– Жить так, как живут остальные.

– Зато без обмана.

Он вдруг улыбнулся ей хитрой улыбкой.

– Ужасный обман! – громко и восторженно сказал Трубецкой. – Боюсь за детей. Страх мой вечный. Боюсь заслужить наказание детьми. – Он громко, с особенным удовольствием произнес: «Детями». – А Петра моя абсолютно безгрешна.

Легкая брезгливость появилась в нижней части его большого лица.

– Но я не желаю такой чистоты! Вот так вот и так! Не желаю! – Крест–накрест Трубецкой обхватил себя за плечи, и шея в больших, влажных складках раздулась. – Да! Так! Не

желаю! С нее... как сказать? Гладки взятки! А я? Прасковья вон давеча не ночевала. Домой не пришла! Обыскались. В полицию, в школу... Явилась под утро. Мне что, ее бить? Так меня арестуют! Кричу: «Где была? Ты где была, сука?» Она, слава богу, не знает, что «сука»... Что это ругательство, в общем. Была у бой-френда. Четыре утра. Ну, принял снотворное. Лег и лежу. А лучше сказать – помираю. И здесь вот, – он ткнул себе в грудь толстым пальцем, – как будто иголкой, острейшей иголкой...

**3 ноября**

**Вера Ольшанская – Даше Симоновой**

Гриша улетает в четверг. Я начала складывать чемодан, положила много рубашек: не побежит же он там в прачечную! Смотрю: он все вынул, оставил четыре рубашки и две пары брюк.

– Зачем мне так много?

Прошлый раз, когда он вернулся из Москвы, все вещи были чистыми и выглаженными. Значит, у него кто-то есть.

Чувствую себя как собака, про которую вчера прочитала в Интернете. На железнодорожных путях где-то на севере за-

метили собаку. Сидит и сидит, не уходит. Полчаса сидит, сорок минут. Наконец удивились, посмотрели: собака, оказывается, примерзла. Она потому и не двигалась. А через семь минут должен был пройти поезд. Вот так же и я.

## Любовь фрау Клейст

Вернувшись домой из больницы, фрау Клейст передала Альберту коротенькую записочку, в которой просила не приходить к ней «на уроки» еще три недели. У Альберта брызнули слезы от ярости. Стыд, который он испытал, прочитав записку, был таким сильным, что он опустился на корточки и, втянув голову в плечи, обхватил себя обеими руками. И тут же возникло решение.

В два часа ночи сосед фрау Клейст, выехавший на инвалидной коляске в свой маленький, душный от роз палисадник, заметил мужскую высокую тень, припавшую к двери соседки с желанием взломать ее с помощью силы. Страдающий бессонницей любознательный инвалид, радуясь приключению и чувствуя себя настоящим мужчиной, немедленно вызвал полицию. Альберта увезли в наручниках.

Фрау Клейст спала и ни о чем не подозревала. Две детские головы, свежие, как только что сорванные яблоки, сияли внутри быстрой лодки. Река стала лесом. И дальше пошла чепуха и нелепость. Какая-то женщина, вроде слепая. Которая ела детей. Ловила в

реке их, как рыб, и съедала.

По утрам слепая входила в сарай и говорила детям, которые сидели в клетке:

– А ну-ка давайте сюда ваши ручки!

И щупала их тонкокостные руки. Сердилась, что руки такие несочные.

– Еще бы немножко! – мечтала слепая. – Вы ешьте побольше! Вам разве не вкусно?

Бросала им кур с вертела, сыр, конфеты.

– Да ешьте вы, ешьте!

Но Ганс – умный мальчик! Обгладывал кости от курицы, просовывал их через прутья, как пальцы.

– Да что ж вы такие худющие! – скрежетала ведьма. – Еще потерплю, а в субботу изжарю!

Фрау Клейст привстала на подушках. Она была дома, одна, в своей спальне. Луна смотрела на нее не так, как сияющее небесное создание смотрит на бледное земное существо, а так одна злая баба глядит на другую. С тоской, с омерзением, без всякой пощады. Пушистая верхняя губа на отечном лице ее была по-кроличьи приподнята.

Утром позвонили из полиции. Альберт Арата, ученик той школы, в которой фрау Клейст преподавала рисование, пытался проникнуть к ней в дом с целью ограбления.

Фрау Клейст сразу же поняла, что произошло. Его нужно было спасать. Слегка запинаясь, но голосом бархатным, нежным, спокойным, она объяснила, что

мальчик был ею – подумайте только! – слегка увлечен. По-детски, конечно. Она и решила прервать их занятия. А он рассердился. Чего не бывает?

Альберта отпустили на третий день. Родителям пришлось изрядно понервничать. Фрау Клейст, белая, как марля, потерявшая много крови во время аборта, сидела на диване в гостиной своего маленького любовника, а мать и отец стояли перед ней и смотрели на нее брезгливо – точь-в-точь как недавно смотрела луна, с ее этой кроличьей верхней губою.

Историю замяли, но фрау Клейст пришлось немедленно покинуть Мюнхен. С Альбертом она так и не увиделась. Перед самым отъездом он выскользнул из-под родительского присмотра и позвонил ей.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.